Николай Лесков

Скоморох Памфалон

Николай Семёнович Лесков
Скоморох Памфалон

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175412

Аннотация

Душераздирающая история мнимо умершей жены, жестокосердного мужа и пылкого любовника дополняется неким скоморохом… Скоморох, отказавшись от спасения души своей, гибнущей, как ему кажется, в неправедном ремесле, отдаёт ниспосланные ему деньги, способные стать для него воротами в праведную жизнь, на выкуп из рабства несчастной Магны, помогая ей воссоединиться с семьёю.

Сама легенда в устах скомороха становиться рассказом о его собственном нечестивом и грешном падении, рассказом о заглублении своей души. Да и вся эта история уходит на второй план, на первый же выдвигаются горделивый самовольный столпник Ермий, в гордыне думающий на столпе о тщете своих усилий и беззаботный скоморох из Дамаска, явленный столпнику, как пример благости, записанный в книгу живых.

Если Ермий скорбит о судьбах ближних, боготворя себя самого, по словам Лескова, «унижал и план и цель творения и себя почитал совершеннейшим», то Памфалон, непрестанно корящий себя за беспутсво и грех, настолько любит других, что

избивается за это медными прутьями. <…> Памфалон становится тем, кто может, махнув шутовскою епанчей, уничтожить «предел» Ермия – напачканное во весь небосклон большими еврейскими литерами, словно углём и сажей… слово: «самомнение».

Содержание

Глава первая 5
Глава вторая 7
Глава третья 9
Глава четвертая 11
Глава пятая 15
Глава шестая 17
Глава седьмая 20
Глава восьмая 25
Глава девятая 28
Конец ознакомительного фрагмента. 29

Николай Лесков
Скоморох Памфалон

Слабость велика, сила ничтожна. Когда человек родится, он слаб и гибок; когда он умирает, он крепок и черств. Когда дерево произрастает, оно гибко и нежно, и когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит.
Лао-тзы

Глава первая

В царствование императора Феодосия Великого жил в Константинополе один знатный человек, «патрикий и епарх», по имени Ермий. Он был богат, благороден и знатен; имел прямой и честный характер; любил правду и ненавидел притворство, а это совсем не шло под стать тому времени, в котором он жил.

В то отдаленное время в Византии, или в нынешнем Константинополе, и во всем царстве Византийском было много споров о вере и благочестии, и за этими спорами у людей разгорались страсти, возникали распри и ссоры, а от этого выходило, что хотя все заботились о благочестии, но на са-

мом деле не было ни мира, ни благочестия. Напротив того, в низших людях тогда было много самых скверных пороков, про которые и говорить стыдно, а в высших лицах царило всеобщее страшное лицемерие. Все притворялись богобоязненными, а сами жили совсем не по-христиански: все злопамятствовали, друг друга ненавидели, а к низшим, бедным людям не имели сострадания; сами утопали в роскоши и нимало не стыдились того, что простой народ в это самое время терзался в мучительных нуждах. Обеднявших брали в кабалу или в рабство, и нередко случалось, что бедные люди даже умирали с голода у самых дверей пировавших вельмож. При этом простолюдины знали, что именитые люди и сами между собой беспрестанно враждовали и часто губили друг друга. Они не только клеветали один на другого царю, но даже и отравляли друг друга отравами на званых пирах или в собственных домах, через подкуп кухарей и иных приспешников.

Как сверху, так и снизу все общество было исполнено порчей.

Глава вторая

У упомянутого Ермия душа была *мирная*, и к тому же он ее укрепил в любви к людям, как заповедал Христос по Евангелию. Ермий желал видеть благочестие настоящее, а не притворное, которое не приносит никому блага, а служит только для одного величания и обмана. Ермий говорил: если верить, что Евангелие божественно и открывает, как надо жить, чтобы уничтожить зло в мире, то надо все так и делать, как показано в Евангелии, а не так, чтобы считать его хорошим и правильным, а самим заводить наперекор тому совсем другое: читать «оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем», а заместо того ничего никому не оставлять, а за всякую обиду злобиться и донимать с ближнего долги, не щадя его ни силы, ни живота.

Над Ермием за это все другие вельможи стали шутить и подсмеиваться; говорили ему: «Верно, ты хочешь, чтобы все сделались нищими и стояли бы нагишом да друг дружке рубашку перешвыривали. Так нельзя в государстве». Он же отвечал: «Я не говорю про государство, а говорю только про то, как надо жить по учению Христову, которое все вы зовете божественным». А они отвечали: «Мало ли что хорошо, да невозможно!» И спорили, а потом начали его выставлять перед царем, как будто он оглупел и не годится на своем месте.

Ермий начал это замечать и стал раздумывать: как в са-

мом деле трудно, чтобы и в почести остаться и самому вести жизнь по Христову учению?

И как только начал Ермий сильнее вникать в это, то стало ему казаться, что этого даже и нельзя совсем вместе соединить, а надо выбирать из двух одно любое: или оставить Христово учение, или оставить знатность, потому что вместе они никак не сходятся, а если и сведешь их насильно на какой-нибудь час, то они недолго поладят и опять разойдутся дальше прежнего. «Уйдет один бес и опять воротится, и приведет еще семерых с собою». А с другой стороны глядя, Ермий соображал и то, что если он станет всех обличать и со всеми спорить, то войдет он через то всем в остылицу, и другие вельможи обнесут его тогда перед царем клеветами, назовут изменником государству и погубят.

«Угожу одним, – думает, – не угожу другим: если с хитрыми пойду – омрачу свою душу, а если за нехитрых стану – то им не пособлю, а себе беду наживу. Представят меня как человека злоумышленного, который сеет неспокойствие, а я могу не стерпеть напраслины да стану оправдываться, и тогда душа моя озвереет, и я стану обвинять моих обвинителей и сделаюсь сам такой же злой, как они. Нет, пусть так не будет. Не хочу я никого ни срамить, ни упрекать, потому что все это противно душе моей; а лучше я совсем с этим покончу: пойду к царю и упрошу его дозволить мне сложить с себя всякую власть и доживу век мой мирно где-нибудь простым человеком».

Глава третья

Как Ермий задумал, так он и сделал по своему рассуждению. Царю Феодосию он ни на что не жаловался и никого перед ним не обвинял, а только просился отставить его от дел. Царь уговаривал Ермия остаться при должности, но потом отпустил. Ермий получил полную отставку («отложи от себя всяку власть»). А в это же самое время скончалась жена Ермия, и бывший вельможа, оставшись один, начал рассуждать еще иначе:

«Не указание ли мне это свыше? – подумал Ермий. – Царь меня отпустил от служебных забот, а господь разрешил от супружества. Жена моя умерла, и нет у меня никого такого в родстве моем, для которого мне надо было бы стараться по своим имениям. Теперь я могу идти резвее и дальше к цели евангельской. На что мне богатство? С ним всегда неминучие заботы, и хоть я от служебных дел отошел в сторону, а, однако, богатство заставит меня о нем заботиться и опять меня втравит в такие дела, которые не годятся тому, кто хочет быть учеником Христовым».

А богатства у Ермия было очень много («бе бо ему богатство многосущное») – были у него и дома, и села, и рабы, и всякие драгоценности.

Ермий всех своих рабов отпустил на волю, а все прочее «богатство многосущное» продал и деньги разделил между

нуждавшимися бедными людьми.

Поступил он так потому, что хотел «совершен быть», а тому, кто желает достичь совершенства, Христос коротко и ясно указал один путь: «Отдай все, что имеешь, и иди за мною».

Ермий все это исполнил в точности, так что даже никакой малости себе не оставил, и радовался тому, что это совсем не показалось ему жалко и трудно. Только начало было дорого сделать, а потом самому приятно стало раздавать все, чтобы ничто не путало и ничто не мешало идти налегке к высшей цели евангельской.

Глава четвертая

Освободясь и от власти и от богатства, Ермий покинул тайно столицу и пошел искать себе уединенного места, где бы ему никто не мешал уберечь себя в чистоте и святости для прохождения богоугодной жизни.

После долгого пути, совершенного пешими и босыми ногами, Ермий пришел к отдаленному городу Едессу и совсем нежданно для себя нашел здесь «некий столп». Это была высокая каменная скала, и с расщелиной, и в середине расщелины было место, как только можно одному человеку установиться.

«Вот, – подумал Ермий, – это мне готовое место». И сейчас же взлез на этот столп по ветхому бревнышку, которое кем-то было к скале приставлено, и бревно оттолкнул. Бревно откатилось далеко в пропасть и переломилось, а Ермий остался стоять и простоял на столпе тридцать лет. Во все это время он молился богу и желал позабыть о лицемерии и о других злобах, которые он видел и которыми до боли возмущался.

С собою Ермий взял на скалу только одну длинную бечевку, которою он цеплялся, когда лез, и бечевка эта ему пригодилась.

На первых днях, как еще Ермий забыл убрать эту бечевку, заметил ее пастух-мальчик, который пришел сюда пасти

козлят. Пастух начал эту бечевку подергивать, а Ермий его стал звать и проговорил ему:

– Принеси мне воды: я очень жажду.

Мальчик подцепил ему свою тыквенную пустышку с водой и говорит:

– Испей и оставь себе тыкву.

Так же он дал ему и корзинку с горстью черных терпких ягод.

Ермий поел ягод и сказал:

– Бог послал мне кормильца.

А мальчик как только пригнал вечером в село стадо козлят, так сейчас же рассказал своей матери, что видел на скале старика, а Пастухова мать пошла на колодец и стала о том говорить другим женщинам, и так сделалось известно людям о новом столпнике, и люди из села побежали к Ермию и принесли ему чечевицы и бобов больше, чем он мог съесть. Так и пошло далее.

Только Ермий спускал сверху на длинной бечеве плетеную корзину и выдолбленную тыкву, а люди уже клали ему в эту корзину листьев капусты и сухих, не вареных семян, а тыкву его наполняли водою. И этим бывший византийский вельможа и богач Ермий питался тридцать лет. Ни хлеба и ничего готовленного на огне он не ел и позабыл и вкус вареной пищи. По тогдашним понятиям находили, будто это приятно и угодно богу. О своем розданном богатстве Ермий не жалел и даже не вспоминал о нем. Разговоров он не имел

ни с кем никаких и казался строг и суров, подражая в молчании своем Илии.

Поселяне считали Ермия способным творить чудеса. Он им этого не говорил, но они так верили. Больные приходили, становились в тени его, которую солнце бросало от столпа на землю, и отходили, находя, что чувствуют облегчение. А он все молчал, вперяя ум в молитву или читая на память три миллиона стихов Оригена и двести пятьдесят тысяч стихов Григория, Пиерия и Стефана.

Так проводил Ермий дни, а вечером, когда сваливал пеклый жар и лицо Ермия освежала прохлада, он, окончив свои молитвы и размышления о боге, думал иногда и о людях. Он размышлял о том: как за эти тридцать лет зло в свете должно было умножиться и как под покровом ханжества и пустосвятства, заменяющего настоящее учение своими выдумками, теперь наверно иссякла уже в людях всякая истинная добродетель и осталась одна форма без содержания.

Впечатления, вынесенные столпником из покинутой им лицемерной столицы, были так неблагоприятны, что он отчаялся за весь мир и не замечал того, что через это отчаяние он унижал и план и цель творения и себя одного почитал совершеннейшим.

Повторяет он наизусть Оригена, а сам думает: «Ну, пусть так – пусть земной мир весь стоит для вечности, и люди в нем, как школяры в школе, готовятся, чтобы явиться в вечности и там показать свои успехи в здешней школе. Но ка-

кие же успехи они покажут, когда живут себялюбиво и злобно, и ничему от Христа не учатся, и языческих навыков не позабывают? Не будет ли вечность впусте?» Пусть утешает Ориген, что не мог же впасть в ошибку творец, узрев, «яко все добро зело», если оно на самом деле никуда не годится, а Ермию все-таки кажется, что «весь мир лежит во зле», и ум его напрасно старается прозреть: «кацы суть Богу угождающие и вечность улучившие?»

Никак не может Ермий представить себе таковых, кои были бы достойны вечности, все ему кажутся худы, все с злою наклонностию в жизнь пришли, а здесь, живучи на земле, еще хуже перепортились.

И окончательно взяло столпника отчаяние, что вечность запустеет, потому что нет людей, достойных перейти в оную.

Глава пятая

И вот однажды, когда, при опускающемся покрове ночи, столпник «усильно подвигся мыслию уведети: кацы суть иже Богу угожающи», он приклонился головою к краю расщелины своей скалы, и с ним случилась необыкновенная вещь: повеяло на него тихое, ровное дыхание воздуха, и с тем принеслись к его слуху следующие слова:

– Напрасно ты, Ермий, скорбишь и ужасаешься: есть тацы, иже добре Богу угожают и в книгу жизни вечной вписаны.

Столпник обрадовался сладкому голосу и говорит:

– Господи, если я обрел милость в очах твоих, то дозволь, чтобы мне был явлен хоть один такой, и тогда дух мой успокоится за все земное сотворение.

А тонкое дыхание снова дышит на ухо старцу:

– Для этого тебе надо забыть о тех, коих ты знал, и сойти со столпа да посмотреть на человека Памфалона.

С этим дыхание сникло, а старец восклонился и думает: взаправду ли он это слышал, или это ему навеяно мечтою? И вот опять проходит холодная ночь, проходит и знойный день, и наступили новые сумерки, и опять поник головой Ермий и слышит:

– Спускайся вниз, Ермий, на землю, тебе надо пойти посмотреть на Памфалона.

– Да кто он такой, этот Памфалон?

– А вот он-то и есть один из тех, каких ты желаешь видеть.

– И где же обитает этот Памфалон?

– Он обитает в Дамаске.

Ермий опять встрепенулся и опять не был уверен, что это ему слышно не в мечте. И тогда он положил в своем уме испытать это дело еще, до трех раз, и ежели и в третий раз будет к нему такая же внятная речь про Памфалона, тогда уже более не сомневаться, а слезать со скалы и идти в Дамаск.

Но только он решил обстоятельно дознаться: что это за Памфалон и как его по Дамаску разыскивать.

Прошел опять знойный день, и с вечернею прохладою снова зазвучало в духе хлада тонка имя Памфалона.

Неведомый голос опять говорит:

– Для чего ты, старец, медлишь, для чего не слезаешь на землю и не идешь в Дамаск смотреть Памфалона? А старец отвечает:

– Как же могу я идти и искать человека мне неизвестного?

– Человек тебе назван.

– Назван мне человек Памфалоном, а в таком великом городе, как Дамаск, разве один есть Памфалон? Которого же из них я стану спрашивать?

А в духе хлада тонка опять звучит:

– Это не твоя забота. Ты только скорее слезай вниз да иди в Дамаск, а там уже все знают этого Памфалона, которого тебе надо. Спроси у первого встречного, его тебе всяк покажет. Он всем известен.

Глава шестая

Теперь, после третьего такого переговора, Ермий более уже не сомневался, что это такой голос, которого надо слушаться. А насчет того, к какому именно Памфалону в Дамаске ему надо идти, Ермий более не беспокоился. Памфалон, которого «все знают», без сомнения есть какой-либо прославленный поэт, или воин, или всем известный вельможа. Словом, Ермию размышлять более было не о чем, а на что он сам напросился, то надо идти исполнять.

И вот пришлось Ермию после тридцати лет стояния на одном месте вылезать из каменной расщелины и идти в Дамаск…

Странно, конечно, было такому совершенному отшельнику, как Ермий, идти смотреть человека, живущего в Дамаске, ибо город Дамаск по-тогдашнему в отношении чистоты нравственной был все равно что теперь сказать Париж или Вена – города, которые святостью жизни не славятся, а слывут за гнездилища греха и пороков, но, однако, в древности бывали и не такие странности, и бывало, что посты благочестия посылались именно в места самые злочестивые.

Надо идти в Дамаск! Но тут вспомянул Ермий, что он наг, ибо рубище его, в котором он пришел тридцать лет тому назад, все истлело и спало с его костей. Кожа его изгорела и почернела, глаза одичали, волосы подлезли и выцвели, а когти

отрасли, как у хищной птицы… Как в таком виде показаться в большом и роскошном городе?

Но голос его не перестает руководствовать и раздается издали:

– Ничего, Ермий, иди: нагота твоя найдет тебе покрывало.

Взял Ермий свою корзиночку с сухими зернами и тыкву и кинул их вниз на землю, а затем и сам спустился со столпа по той самой веревочке, по которой таскал себе снизу приносимую пищу.

Тело столпника уже так исхудало, что его могла сдержать тонкая и полусгнившая веревочка. Она, правда, потрескивала, но Ермий этого не испугался: он благополучно стал на землю и пошел, колеблясь как ребенок, ибо ноги его отвыкли от движения и потеряли твердость.

И шел Ермий по безлюдной, знойной пустыне очень долго и во весь переход ни разу никого не встретил, а потому и не имел причины стыдиться своей наготы; приближаясь же к Дамаску, он нашел в песках выветрившийся сухой труп и возле него ветхую «козью милоть», какие носили тогда иноки, жившие в общежитиях. Ермий засыпал песком кости, а козью милоть надел на свои плечи и обрадовался, увидев в этом особое о нем промышление.

К городу Дамаску Ермий стал приближаться, когда солнце уже начало садиться. Старец немножко не соразмерил ходы и теперь не знал, что ему сделать: поспешать ли скорее идти или не торопиться и подождать лучше утра. Очам каза-

лось близко видно, а ногам пришлось обидно. Поспешал Ермий дойти засветло, а поспел в то самое время, когда красное солнце падает, сумрак густеет и город весь обвивает мглой. Точно он весь в беспроглядный грех погружается.

Страшно сделалось Ермию – хоть назад беги… И опять ему пришла в голову дума: не было ли все, что он слышал о своем путешествии, одною мечтою или даже искушением? Какого праведника можно искать в этом шумном городе? Откуда тут может быть праведность? Не лучше ли будет бежать отсюда назад, влезть опять в свою каменную щелку, да и стоять, не трогаясь с места.

Он было уже и повернулся, да ноги не идут, а в ушах опять «дыхание тонко»:

– Иди же скорей лобызай Памфалона в Дамаске.

Старик снова обернулся к Дамаску, и ноги его пошли.

Пришел Ермий к городской стене как раз в ту минуту, когда городской страж наполовину ворота захлопнул.

Глава седьмая

Насилу успел бедный старик упросить сторожа, чтобы он позволил ему пройти в ворота, и то отдал за это свою корзину и тыкву; а теперь сам совсем безо всего очутился в совершенно ему незнакомом и ужасно многогрешном городе.

Ночи на юге спускаются скоро, сумерек почти нет, и темнота бывает так густа, что ничего нельзя видеть. Улицы в то время, когда было это происшествие, в восточных городах еще не освещались, а жители запирали свои дома рано. Тогда на улицах бывало очень небезопасно, и потому обыватели крепко закрывали все входы в дом, чтобы впотьмах не забрался какой-нибудь лихой человек и не обокрал бы или бы не убил и не сжег дом. Ночью же входов или совсем не отпирали, или же отпирали только запоздавшим своим домашним или друзьям, и то не иначе, как удостоверясь, что стучится именно тот человек, которого впустить надо.

Отворенными поздно оставались только двери развратниц, к которым путь открыт всем, и чем больше идут к ним на свет, тем им лучше.

Старец Ермий, попав в Дамаск среди густой тьмы, решительно не знал: где ему приютиться до утра. Были, конечно, в Дамаске гостиницы, но Ермий не мог ни в одну из них постучаться, потому что там спросят с него плату за ночлег, а он не имел у себя никаких денег.

Остановился Ермий и, размыслив, что бы такое в его положении возможно сделать, решился попроситься ночевать в первый дом, какой попадется.

Так он и сделал: подошел к ближайшему дому и постучался.

Его опросили из-за двери:

– Кто там стучится? Ермий отвечает:

– Я бедный странник.

– Ах, бедный странник! Не мало вас шляется. Чего же тебе надо?

– Прошу приюта.

– Так ты не туда попал. Иди за этим в гостиницу.

– Я беден и не могу платить в гостинице.

– Это плохо, но иди в таком случае к тем, кто тебя знает: они тебя, может быть, пустят.

– Да меня здесь никто не знает.

– А если тебя здесь никто не знает, то не стучи и у нас понапрасну, а уходи скорей прочь.

– Я прошусь во имя Христа.

– Оставь, пожалуйста, оставь это имя. Много вас тут ходит, всё Христа вспоминаете, а наместо того лжете и этим именем после всякое зло прикрываете. Уходи прочь, нет у нас для тебя приюта.

Ермий подошел к другому дому и здесь опять стал стучать и проситься.

И здесь тоже опять спрашивают его из-за закрытых две-

рей:

– Чего тебе надо?

– Изнемогаю, я бедный странник… пустите отдохнуть в доме!

Но опять и тут ему тот же ответ: иди в гостиницу.

– У меня денег нет, – отвечал Ермий и произнес Христово имя, но оно вызвало только укоры.

– Полно, полно выкликать это имя, – отвечали ему из-за дверей второго дома, – все ленивцы и злодеи нынче этим именем прикрываются.

– Ах, – отозвался Ермий, – поверьте, что я никому никакого зла не сделал и не делаю: я пришел прямо из пустыни.

– Ну, если ты из пустыни, то там бы тебе и оставаться. Напрасно ты сюда и пришел.

– Я не своею волею пришел, а имел повеление.

– Ну, так иди к тому, куда позван, а нас оставь в покое; мы тех, кои старцами сказываются и в козьих милотях ходят, боимся: вы сами очень святы, а за вами за каждым седмь приставных бесов ходит.

«Ого! – подумал Ермий, – как время изменило обычаи. Верно, ныне совсем уже нет старого привета странным. Все уже знают пустынное предание, что за аскетом вслед более бесов ходит, чем за простым грешником, а через это не лучше, а хуже стало. И вот я – пустынник, простоявший тридцать лет, – в тени столпа моего люди получали исцеления, а меня никто не пускает под крышу, и я не только могу быть

убит от злодеев, но еще горше смерти могу быть оскорблен и обесчестен от извративших природу бесстыдников. Нет, теперь я уже ясно вижу, что я поддался насмешке сатаны, что я был послан сюда не для пользы души моей, а для всецелой моей пагубы, как в Содом и Гоморру».

А в это самое время Ермий тоже замечает, что кто-то во тьме спешно перебегает улицу и, смеясь, говорит:

– Ну, насмешил ты меня, старичина!

– Чем это? – спросил Ермий.

– Да как же, ты так глуп, что просишься, чтобы тебя пустили ночевать в дома людей высокородных и богатых! Видно, ты и в самом деле, должно быть, ничего в жизни не понимаешь.

Столпник подумал: «Это, пожалуй, вор или блудодей, а все-таки он разговорчив: дай я его расспрошу, что мне сделать, где найти приют».

– Ну, ты постой-ка, – сказал Ермий, – и кто бы ты ни был, скажи мне, нет ли здесь таких людей, которые известны за человеколюбцев?

– Как же, – отвечает, – есть здесь и таковые.

– Где же они?

– А вот ты сейчас у их домов стучался и с ними разговаривал.

– Ну, значит, их человеколюбство плохо.

– Таковы все показные человеколюбцы.

– А не известны ли тебе, кои боголюбивы?

– И таковые известны.

– Где же они?

– Эти теперь, по заходе солнечном, на молитву стали.

– Пойду же я к ним.

– Ну, не советую. Боже тебя сохрани, если ты своим стуком помешаешь их стоянию на молитве, тогда слуги их за то свалят тебя на землю и нанесут тебе раны.

Старец всплеснул руками:

– Что же это, – говорит, – человеколюбцев никак в своей нужде не уверишь, а набожных от стояния не отзовешь, ночь же ваша темна, и обычаи ваши ужасны. Увы мне! увы!

– А ты вместо того, чтобы унывать и боголюбцев разыскивать, – *иди к Памфалону*.

– Как ты сказал? – переспросил отшельник и опять получил тот же ответ:

– *Иди к Памфалону*.

Глава восьмая

Рад был отшельник услыхать про Памфалона. Стало быть, шел он недаром. Но кто, однако, сам этот во тьме говорящий: хорошо, если это путеводительный ангел, а может быть, это самый худший бес?

– Мне, – говорит Ермий, – Памфалона и нужно, потому что я к нему послан, но только я не знаю: тот ли это Памфалон, о котором ты говоришь?

– А тебе что о твоем Памфалоне сказано?

– Сказано много, чего я не стану всякому пересказывать, а примета дана такая, что его здесь все знают.

– Ну, а если так, то я говорю о том самом Памфалоне, про которого тебе сказано. Он один только и есть такой Памфалон, которого все знают.

– Почему же он всем так известен?

– А потому, что он приятный человек и всюду с собою веселье ведет. Без него нет здесь ни пира, ни потехи, и всем он любезен. Чуть где пса его серого с длинной мордой заслышат, когда он бежит, гремя позвонцами, все радостно говорят: вот Памфалонова Акра бежит! сейчас, значит, сам Памфалон придет, и веселый смех будет.

– А для чего же он пса при себе водит?

– Для большего смеха. Его Акра чудесная, умная и верная собака, она ему людей веселить помогает. А то еще у него

есть разноперая птица, которую он на длинном шесте в обруче носит: тоже и эта дорогого стоит: она и свистом свистит и шипит по-змеиному.

– Зачем же Памфалону все это нужно – и пес и разноперая птица?

– Как же – Памфалону без смешных вещей быть невозможно.

– Да кто же такой у вас этот Памфалон?

– А разве ты сам этого не знаешь?

– Не знаю. Я только слышал о нем в пустыне.

Собеседник удивился.

– Вот как! – воскликнул он. – Значит, уже не только в Дамаске и в других городах, а и далеко в пустыне знают нашего Памфалона! Ну, да так тому и следовало быть, потому что такого другого весельчака нет, как наш Памфалон: никто не может без смеха глядеть, как он шутит свои веселые шутки, как он мигает глазами, двигает ушами, перебирает ногами, и свистит, и языком щелкает, и вертит завитой головой.

– Перебирает ногами и вертит головою, – повторил пустынник, – лицедейство, телодвижение и скоки… Да кто же он такой наконец?!

– Скоморох.

– Как?.. этот Памфалон!.. К кому я иду!.. Он *скоморох!*

– Ну да, Памфалон скоморох, его потому все и знают, что он по улицам скачет, на площади колесом вертится, и мигает глазами, и перебирает ногами, и вертит головой. Ермий даже

свой пустыннический посох из рук уронил и проговорил:

– Сгинь! сгинь, дьявол, полно тебе надо мной издеваться!

А во тьме говоривший не расслышал этого заклинания и добавил:

– Памфалонов дом сейчас здесь за углом, и у него наверно теперь в окне еще свет светится, потому что он вечером приготовляет свои скоморошьи снаряды, чтобы делать у гетер представления. А если у него огня нет, так ты впотьмах отсчитай за углом направо третий маленький дом, входи и ночуй. У Памфалона всегда двери отворены.

И с тем говоривший во тьме сник куда-то, как будто его и не бывало.

Глава девятая

Ермий, пораженный тем, что он услыхал о Памфалоне, остался в потемках и думает:

«Что же мне теперь делать? Это невозможно, чтобы человек, для свидания с которым я снят с моего камня и выведен из пустыни, был скоморох? Какие такие добродетели, достойные вечной жизни, можно заимствовать у комедианта, у лицедея, у фокусника, который кривляется на площадях и потешает гуляк в домах, где пьют вино и предаются беспутствам».

Непонятно это, а ночь темна, деться некуда, и – надо идти к скомороху.

Ночной приют пустыннику был необходим, потому что хотя он и привык ко всем непогодам, но на улице в городе в тогдашнее время остаться ночью было гораздо опаснее, чем в нынешнее. Тогда и воры грабили, и ходили такие отчаянные люди, каких видали только пред сожжением Содома и Гоморры. Эти были хуже животных и не щадили никого, и всяк мог ожидать себе от них самого гнусного оскорбления.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.